

ЖИЗЕЛЬ

Финал этого представления не совпал с замирающими звуками милой романтической музыки, имел место не на сцене, а здесь, в фойе, в оживленном гардеробном роении зрителей и их шуб, на кайме которого, у колонны перед выходом из концертного здания, стояли те же артисты, усталые, в их пропотелых балетных костюмах Жизели, Лесничего, Сына Герцога. На их лицах застыли жесткие улыбки горгулий, они, рискуя простудиться, на прощание предлагали уходящим зрителям сувениры. Среди сувениров преобладали раскрашенные фигурки Жизели, Лесничего, Сына Герцога и макетики лесной хижины, хранящей память об их печальной любовной истории.

Самые молодые и самые пожилые из зрителей подходили к артистам, благодарили их и иногда прикасались к ним, подписывали у них буклеты — и покупали фигурки.

Я знал, что у гастролеров это называется «собрать на бутылку» или «подмазать дорогу», что это традиция бедовых артистов. Тут забывается про «святое искусство» и запрет плевать на сцену, тут неприкрытое торжество быта и мефистофелевского копыта. И тут вспоминаются годы, когда старые профессора и отставные генералы продавали все, чем еще были богаты — от лакированных туфель до спичек — на простуженных улицах Гражданской войны.

Улыбающаяся, с покушениями на обретенную одухотворенность публика не понимала, что ее надули, что на ее наивность и провинциальную благожелательность и был расчет.

В афише, скромно, но и аристократически черно-белой, без фоток, было пропечатано, кажется, так: «Московский театр классического балета». Правильное наименование, навстречу запросам провинциального зрителя, он же мещанин, все еще живущий в инерциях советской мифологии. Назвались бы, например, театром «Галатей» или театром «Фуэте», или труппой «Умирающий лебедь», непременно были бы уязвлены в сборах. Ну уж нет: слова «Московский» и «Классический» здесь должны были быть выведены непременно.

Коньяк «Московский», грильяж «Московский», колбаса сырокопченая «Московская». Экстра, люкс. Это не просто указание на место изготовления товара, но и гарантия его высокого качества, но и возможность приобщения к высокой жизни.

«В Москву! В Москву!» Все таланты собираются в Москве. Там заявляют о себе на всю державу, а бездарности там не удерживаются и проваливаются в забвение. Недаром прилагательное «Московский» без всяких на то грамматических оснований часто пишется с большой буквы. Вот и позавчера безумный графоман Н. Н. принес мне книжку своих виршей с восторженным предисловием к ней, которое сочинил он сам (в чем добродушно сознался), но которое подписал «А. Николаев, московский поэт». Лучшие ученые, лучшие писатели живут где? В Москве. Лучшие театры где? В Москве. Там, где жрецы подмошток питают свое дарование московским коньяком, закусывая его московской колбасой, и на десерт попивают развешенный в Москве чай с московскими конфетами.

Даже словосочетание «Московское время» говорит об его особой, магической точности и несет в себе тот намек, что само время управляется из столицы, оттого хорошея.

И даже пребывание на свете Московским дворником — несмотря на беспощадное ограбление несчастного уроженца Средней Азии жилкомхозбесовщиной — резко поднимает его социальный статус среди единоплеменных.

А то, что в Москву стеклась нынче вся похабень и срамота России, «этой страны», так это еще не вполне уложилось в обывательских умах, и в афише есть успокоительное слово «классический». Значит, не бойтесь, приводите с собой детей, приверженцы традиционного полового и гигиенического воспитания.

С первых тактов музыки, с первых поползновений рук и ног выяснилось, что перед переполненным залом предстали обученные, опытные профессионалы. Но мастера, у которых не было даже первоначального задора, одушевления, и при этом ощущался простой недостаток физических сил, и оставшиеся силы сберегались, расходовались скупно. Им надо было оттанцевать, отработать спектакль, не более того. Так увольняющийся сантехник наскоро латает трубу, зная, что завтра она снова протечет, да только с него за это никто уже не спросит.

Этого не видели неискушенные в массе своей зрители, они были в розовых очках, но какое-то недоумение — я оглянулся на зал — безотчетное, в них поселилось, наподобие легкого кислородного голодания. Конечно, они винили в этом себя, свое малое вежество, в чем не признавались ни другим, ни себе. История Жизели развивалась на голем ремесле, и на душе у данных людей балета было пусто и сумеречно. Их лица подчинялись механической мимике, их глаза были обращены внутрь.

Минуты шли, но обновления, оживления не происходило. Ожидание чуда затягивалось, набор высоты откладывался. И вот уже почтительное предвкушение художественных впечатлений превратилось в невольное ожидание конца зрелища, чтобы стоя предаться овациям.

— Дядя, — прошептал мне племянник, наделенный чувством прекрасного, — дядя, как скучно! У них разряжены батарейки. Никакого шарма.

Я согласился. Скучно было до того, что начало казаться: над сценой, освещенной и декорированной хитрой оптикой нового века, поднялась пыль; пылью и потом веяло со сцены.

Скука превращалась в метафизическую тоску. Но на что же здесь надеяться, подумал я, если очевидно: труппа состоит из немолодых, изработанных камчадалов балетного мира, отчаянно длящих свою карьеру только потому, что надо что-то есть, что они не умеют ничего другого делать, что их личная жизнь не сложилась, а на миру и смерть красна. Наверняка среди них, тех, кто посвежее, есть штрафники — изгои: буяны, пьяницы, незадачливые интриганы. Но могут быть и люди, пострадавшие «за добродетель»...

И вот они, ведомые потрепанным вожаком, которому отказывают и руки, и ноги, но остались еще полуисточенные клыки, садятся в поезд «Москва — Владивосток» и едут, едут, как на последний, может быть, бой, на восход, высаживаясь в очередном губернском городе. Наверное, и костюмы свои соленые они не успевают постирать и сидят, экономя, на сухом пайке, не в силах обойтись без спасительного спиртного...

— Дядя, — прошептал племянник, — хоть бы скандал какой случился. Музыка оборвалась или трико у кого-нибудь лопнуло. Все веселее.

— Ты жесток, — прошептал я в ответ, — вы, молодые — безжалостные.

А ведь что-то подобное уже приходило мне в голову. Простите меня, люди последнего костра.

Но во все времена одной из причин общественной смуты, бунтов, вандализма были праздность и скука. Из того же источника — дрянная любовь россиян к лицемерию пожаров.

(Отвлекаясь от сцены, я вспоминал, как в местном театре, лет сто тридцать назад, ставили какую-то бытовую пьесу, пошлую и нелепую до того, что нехитрая купеческая публика требовала вернуть ей деньги за билеты. Антрепренер промахнулся. Купцы решили устроить обструкцию спектакля и закидать актеров мусором. Но в тот роковой был для актеров вечер случился спасительный скандал. Один из героев ближе к концу должен был выстрелить в героиню из пистолета. Купечество уже предвкуша-

ло расправу и ерзало по всему залу, переговариваясь в полный голос: «Сейчас он, стервец, бахнет, а мы его гнилыми огурцами попотчуем».

А пистолет дал осечку из-за сырого пистона. Тогда растерявшийся герой толкнул героиню кулаком в скулу, убивая. Она упала и принялась умирать от побоев, на ходу убирая из предсмертного монолога слова «твой выстрел» и «как алеет моя кровь», заменяя их на «как больно» и «как ты бесчеловечен». А другой герой, поменьше, что присутствовал при казни, воскликнул:

«Владимир, что ты наделал», упал в углу и стал кататься по полу.

В зале раздались гомерический хохот и аплодисменты. Картузы птицами взмыли к потолку. На следующее представление билеты разобрали задолго. Купцы спорили: выстрелит или нет, а один молоденький сынок из самых богатых пообещал, что он выстрел сорвет, подменив пистон. И подкупил кого-то из служителей театра, и вновь осечка — вновь гомерический хохот, теперь с поднесением подарков служителям Мельпомены. Правда, «убийца» ушел в извинительный запой.

И только с третьего раза сменивший его актер любитель, из чиновников, таки застрелил неверную чаровницу. Потому что он носил пистолет с запасом пистонов на себе, под мундиром, не давая никому потрогать. Здесь тоже хохотали, потому что после выстрела актеры заулыбались. Но спектакль под шикарным названием «Светлое марево» утратил всякий интерес и был снят с репертуара.

Я снова оглядел публику. Она расслабилась, многие уже смелее думали о своей неготовности к встрече с прекрасным в таком варианте, и почти все — поняли: не в таком же объеме! Но они согласны дотерпеть, они не уйдут в антракте — неловко, стыдно выказать свою глухоту перед другими — на самом деле такими же страдальцами. Зато завтра можно будет заявить на службе перед сослуживцами: «Вчера опять ходил на балет», и, например, с пресыщением сказать: «Неплохо, неплохо, школа есть школа. Но — старомодно».

...И тут на сцену выскочил Лесничий, самозабвенно нарезая по ней широкие круги. Товарищи по балету не без неловкости

пятились, расчищая ему дорогу. Лесничим был молодой человек с брутальной бородкой, крепкий, энергичный, заведомый штрафник из буянов. Зал оживился, встрепенулся. Он тоже отбывал номер, подменяя напором творческое счастье, танцевал вслепую. Но всех обрадовало его честное прилежание, хотя всем было любопытно, не промахнется ли он мимо сцены, не свалится ли в передний ряд.

Не промахнулся, отхватил должное количество кругов и заслужил оvation. Каша его была плоха, зато ее было много. С первых его полетных инициатив племянник потянул меня за рукав, не отпуская, и заглянул в глаза с таинственной романтической улыбкой. Я недоумевал.

А когда эпизод завершился, племянник, ни в какой пошлости не замеченный, громко шепнул мне: «Дядюшка, смотри, какие у него...!»

Я посмотрел, и соседи тоже посмотрели. Действительно. Там, где спотыкалось искусство, нам на помощь пришла сама сермяга-жизнь. Ибо когда искусство хромает, справедливо утверждение грубияна Чернышевского: «Прекрасное есть жизнь, а искусство есть суррогат жизни».

Теперь мы с соседями внимали балету без всякой академической отрешенности. Появилась интрига, появился ее герой. Мы ждали его появления на сцене и огорчались, когда он надолго застревал где-то в своем альпийском лесу. И мы не сочувствовали ни ветреной Жизели, ни ее призраку.

Мы возвращались домой не с пустыми руками. Нам было чем поделиться.

...Там, в фойе, проходя мимо терпеливо, до последнего зрителя, торгующих солистов, мы услышали, как Лесничий пробормотал Жизели: ну, Маша, нам теперь до этого, как его, Красноярска, хватит. Пируем.

Мы приостановились, старательно поправляя шарфы и застегивая куртки.

— А оброк для Карабаса набрался? — спросила Жизель. — В Омске не повезло.

— Все в порядке, — ответил Лесничий, пренебрегая нами, — а же две своих побрякушки толкнул.

На улице сыпался с черного неба снежок, с реки дул богомерзкий ветер, ступени крыльца были невыносимо скользкими. Дорога домой будет бодрящей, поздний ужин будет нагулянно-вкусным. Жизнь в очередной раз победит искусство.

— А с Жизелью-то что, — спросил племянник, — она, вроде бы, утопилась? Как-то я это потерял из виду.

СИНИЦЫ, ОСЫ, ВОРОБЬИ

Посреди зимы город прохватили крещенские сибирские морозы. Настоящие, полузабытые. На крайней березе, слева от моего окна и балкона, теперь по очереди дежурили одиночные, раздувшиеся в шар молчаливые синицы.

Прочие синицы — а их прописалось здесь много — обосновались на стеклянной крыше близлежащей школьной теплицы. Ее покрывал толстый слой ватного снега. Они, взлетая повыше, камнями падали в снег, пробивая его до самого стекла, вдесятером на одну лунку. Стекло было теплым. Снег на нем рыхлился, мягчел, превращался в одеяло. Синицам там было уютно. То, что они без суеты сменяли друг друга на березовых ветвях, говорило о том, что синицы умеют договариваться и у них есть свое начальство.

Эта береза была посажена мной лично четверть века назад, в июле месяце, когда заканчивалось строительство большого, длинного, переломленного панельного десятиэтажника, в котором я получал квартиру. Меня назначили главным в посадочном подразделении, в основном состоявшем из криворуких и одышливых университетских доцентов. Мы вышли на бой с черенковыми лопатами и бутылкой водки «Зверь», ныне канувшей в Лету.

(0,75 литра. Водка оказалась отвратительной. Первый глоток становился последним. Две трети ее допил — в один прием — изнуренный женой гуманитарий родом из Кузбасса, за что получил прозвище Таштагольский герой. Допил, прилег на газон, сказал: «Эх, чужбина» — и заснул.

Эту водку рекламировал на местном телевидении местный народный артист России. Не от хорошей, конечно, жизни. Он

проникновенно, плотоядно выпивал ее в каком-то мрачном, братковском баре, а потом за ним приходила его разгневанная «жена» с автоматом. Он валился на пол, отползая, — не надо, Жанна, не надо — а она расстреливала весь ассортимент на полках и стойке. У нас были теплые отношения с этим мастером, и он доверительно заклинал меня никогда не покупать водку «Зверь».)

Мимо проходил здешний житель, фыркающий на нас, как де-вушка. Он сказал мне, что через годы, когда березы подрастут, в квартирах будет темно, как у негра в заднице. А растет березка по полуметру в год.

Я задумался. Я надеялся прожить больше четверти века, когда пара-тройка невестушек погрузит мою квартиру на пятом этаже в тропическую тьму, закрыв задушевный вид на просторные зеленые школьные двory, трамвайную аллею и Божий храм.

Я отмерил шагами расстояние от торца дома до моего балкона, пересчитал саженцы и, наслаждаясь властью над покорными доцентами, велел втыкать саженцы в три раза плотнее, чем рекомендовалось в бумажке, исписанной древним химическим карандашом. Ботаников в нашей бригаде не случилось, и некому было меня уличить.

(И такое уже текло равнодушное время, что никто свыше не обругал нас, не заставил переделывать данную работу. Не наказал меня за плохой поступок. Я признаюсь в нем потому, что надеюсь на истечение срока давности преступления. Стыдно ли мне? Даже не знаю.)

И вот теперь вымахавшие до шестого этажа березы выстроились в колонну по одному от торца до моего балкона, споткнувшись перед ним. И крайняя береза — МОЯ, я ее предусмотрительно, как мету, как ориентир, поторопился посадить самой первой — «досюда будет».

Ясное дело, что при таком близком соседстве березы росли голодными и хилыми, отнимая друг у друга питательные соки земли, Я так и вижу, как переплелись в грунте их тощие, бледные червяки-корни в борьбе за существование. Надо сказать, что и моя береза, несмотря на выгодную пустоту за ней, не вполне блистательна — худа, у нее три узенькие верхушки. А скромные ветки просят каши. И шумит она под ветром, как порожный канал

в телевизоре. Но — распахнулась по-деревенски и, в отличие от соседок, до самых морозов держит, бережет кисти жухлых, скорбных листьев.

Но ей суждено было стать здешней синичьей столицей, плацдармом их официальной жизни, совещаний. А мой балкон с опустевшими рамами благодаря этому превратился в подобие синичьих кулуаров.

Синицы залетают на балкон, разглядывают меня в окно, прыгают по бельевой веревке и пьют деликатесную воду из свежестиранных простыней; наспех оправляются на рамы. Мне этого достаточно, и я их не прикармливаю. Моя потребность в синем и золотом и без того удовлетворена.

Золотого мне тем более хватает потому, что мое окно выходит на закат и что на балконе у меня обосновалось осиное гнездо. Осы поселились в переполненной и оттого раззявленной картонной коробке со старыми, отслужившими свое книгами. Я долго не обращал на ос внимания, пока однажды они, влетая и вылетая из нее, не заслепили мне глаза при ярком послеобеденном солнце, как его верные жрецы. Они влетали и вылетали, взаимно навстречу, каждые две или три секунды, отчего рябило в глазах, очень ритмично, можно сказать, музыкально — и так целый белый день. Было ощущение, что их несколько сотен. Я остерегался их беспокоить, любуясь их музыкой и барочной живописностью. И боялся их, конечно. Они меня тоже не трогали, и ни одна из них за все лето не пересекла границу между комнатой и балконом. Возможно, их отгонял сигаретный дым, но я убежден, что здесь весомее были их общинные представления о добрососедстве.

К ноябрю они исчезли. Сосед сказал мне: на зиму они закапываются в землю. Как им это удастся, не представляю. Но соседу верю: он выдавший виды таксист.

Вспомнив об осах под порханье первых снежинок на бордовом закате, я вышел на балкон и раскрыл коробку. Осиное гнездо было маленьким, сублильным. Осы явно не нуждались в дополнительных квадратных сантиметрах. Повдоль гнездо представляло собой наслаивание пепельных волоконных страничек, напоминая остатки непрогоревшей книжки. На срезе этих страничек

обнаружились мелкие пустые соты. Вернутся ли осы на следующее лето? Я поймал себя на том, что прикасаюсь к гнезду опасными руками. Но оно не кусалось.

Я положил его поверх коробки, и края его затрепетали под колючим ветерком. А на следующий день две синицы сбросили его на землю.

Синицы ос не трогали, а осы синиц не боялись. И те и другие жили в своих, открывшихся мне порядках и маршрутах, замечали друг друга «не замечая».

Другое дело, что синицы, существа любопытные, нет-нет да и залетали ко мне в открытое окно, садились на люстру, на книжные полки и даже на стол. И тут же усвистывали в окно. Это были игры.

И был случай, вечером, в холода, когда уже почернела бахрома астр в палисадниках, когда мое окно обернулось щелью — и заскочившая на огонек синичка не смогла вернуться на простор и в панике заметалась по комнате, уронив на пол бумаги с моего стола. Я, наверное, слишком старательно выгонял ее под небеса, потом открыл окно настежь — она уже этого не видела, охваченная человеческой истерикой. Она словно ослепла. В конце-концов она забилась в складки портьеры, спасительную темноту — и замерла там. Я развернул портьеру и взял ее за хвостик, сальный и скользкий. Коготки ее механически зацепились за штору, она была в глубоком обмороке. Или умерла от страха.

Она глядела на меня открытыми, но остановившимися, нарисованными глазами.

Я осторожно положил ее, лишённую дыхания и сердцебиения, на ту коробку. Она не шевелилась. Я пошел в ванную мыть руки, и мыл их долго.

А когда вернулся, она, словно милостиво дожидаясь меня, приподняла головку, искоса глянула на меня, встала на ножки, поклонилась и обыкновенно улетела на мою березу, где ее дожидалась подружка. И они на пару полетели в южном направлении, куда-то опаздывая.

И вот я постепенно утвердился во мнении, что внешняя, юго-западная сторона дома по-своему граничит и подчиняется синичьей слободе. Здесь даже вороны не появлялись.

Тогда кому же в этом смысле принадлежит северо-восточный фронт дома, его двор, где громко стучали двери наших подъездов, сновали и голосили люди, гудели и рокотали автомобили?

Два вороньих гнезда на тополях на северной окраине двора были не в счет по их обособленности, и вороны никогда не летали над двором, а кружили еще севернее, добираясь до реки Ушайки, и встречались над ней с соплеменницами, густо заселившими тополя на дальнем ее берегу.

Напрашивался простой, однозначный ответ: двор ничейный; пусть в нем и растут деревья — это слишком громкая, агрессивная для птиц территория, недостойная даже их помета.

Так, да не во всем так. В одно ноябрьское утро я узнал, что и наш двор пригоняется птицам. И именно в качестве закрытого пространства, избранного с конкретной и надо думать важной целью

Стояло серенькое утро, оттепело до лужиц, в осеннем воздухе звуки разносились далеко и отчетливо. Было часов одиннадцать, я шел домой с севера. Вольный пенсионер, я знал, что осенью и зимой это самое безлюдное, тихое время в нашем дворе. Взрослые где-то трудились, дети где-то учились, а пенсионеры успели сходить в магазин, просыпаясь рано.

Огибая угол соседнего дома и сделав пару шагов в свой двор, я остолбенел. Во-первых, я услышал громкий, бурный, нервный птичий гам. Драли глотку воробьи. Их было множество. Во-вторых, потому что при виде меня воробьи мгновенно, как ударенные током, заткнулись, будто я мог услышать что-то секретное, сокровенное из их жизни.

Замолчали и посмотрели на меня тысячами глаз, замерев на кустах. Растущих вдоль стены дома внутри палисадника. Их взгляды слились в ОДИН, тяжелый, давящий, взгляд, в лучшем случае означающий: «Пошел вон!»

Мне стало страшно. Мириады воробьев, буквально висевших друг на друге, сливающихся в серое монолитное тело, угрожали мне. Между нами были считанные метры пятнистого снега.

Кажется, я побоялся вовремя вздохнуть. Пришлось отдышаться. Но надо было брать себя в руки. Что они мне могут сделать, эти гипнотические воробьи? Разве что обкакают? Это могут.

И на робких ногах, вкрадчивым вором пошел я сторонкой от них налево, к своему подъезду. И зайдя за подъездную стенку и набирая дверной код, услышал, что с новой силой, без разбега, занялось это невиданное воробьиное вече. (И я вспомнил, вспомнил: теплой, вальяжной зимой, год назад, я проходил по Болоту мимо единственного в наших краях маньчжурского дуба. Листва с него в том году отказалась опадать и сохранилась зеленой. И дуб сверху донизу был набит воробьями. Но тогда они не орали — они словно пикничовали, отдыхали, разглядывая нескончаемый обеденный поток машин.)

Что это было? Вече, форум, съезд? С беспощадной борьбой партий, столкновением амбиций? Или предвоенный митинг с последующей отправкой в зону боевых действий? Уверен: важное, чрезвычайное, масштабное событие в воробьиной жизни. То есть разумное событие. Один воробьишко хитер, да недалек — а вместе?..

А мороз крепчает. Синицы несут свою вахту на березе. Дозорные сменяются заметно чаще, чем вчера. Солнце протяжно восходит над нашим домом, прячущим от солнца школу под моими окнами. Внизу сиреневая ночь. В школе идут первые уроки, и первые лучики уже глядят стены и стекла ее верхнего этажа.

Освещенные электричеством классы похожи на аквариумы. Воздух в них похож на позолоченную воду. Население классов, обрезанное по пояс, похоже на разноцветных рыбок, они передвигаются на хвосте. Большая рыбка — учительница. Вот мелкие рыбки выскочили из-за парт, и закипело все в аквариуме — звонок, перемена.

И дежурная синичка, возвращаясь в обогретую лунку над плитой, пролетает из любопытства дальше. Садится на подоконник и стучится раз-другой в классное окно. Но — стужа, надо на зимнюю квартиру.

А за школой, возвышаясь над ней, — столетний Божий храм. Пятиглавый — Христос и Евангелисты. Его купола вовсю горят, полыхают в переливчатом румянце. Хорошо.

И все это вместе — синичья крыша теплицы, школьный аквариум с чадами науки и над ним торжествующие купола собора — снизу вверх складываются в образ вечной и человеческой жизни.

СУДОКУ

1

— Родом он из нашей деревни, но подался в военные и не появлялся у нас много лет. Отец его, Илья Семенович, утонул, лет тому двадцать, а он узнал об этом через три месяца — находился в горячей точке, в горах Кавказа. Потом был серьезно ранен, списан, все свое пособие денежное переслал матери, она хотела открыть в райцентре газетный киоск, говорила «сейчас все читают» и думала на этом разбогатеть. Авантюристка была. И, конечно, прогорела немедленно. А сын ей поверил: что он знал о новой гражданской жизни, скитаясь в горах Кавказа? Молодая жена обиделась на него и ушла в неизвестном направлении. Однажды искалеченным, разведенным и бездетным отставным майором он, единственный сын больной матери, вернулся в их трухлявый, седой родительский дом на отшибе деревни, где уцелело у нас девять дворов и вымирают собаки. Они тут даже не тьякуют, а как-то кукарекают.

Пенсия у него хор-рошая, зажили. Как мог, подладил дом, двор, разобрался с огородом, завел телевизор. По мужской нужде, как оставшийся с одним глазом и неровно облысевший, жениться не стал — да и на ком? — а сошелся с одной вдовицей из Иволгина. То есть как сошелся — таскается к ней раз в месяц. Наверное, ходит в баню, возьмет бутылку, закуску — и тащится. Не знаю. А женщина, говорят, смиренная.

Общаться с нами никогда не отказывался, но что мы ему, протухшие старики? Понятно, что мы в политике теперь разбираемся не хуже москвичей, а лучше; наша правда земляная, честная. Это нам депутат четко объяснил. Только он не выносил разговоров о политике и матерился на нее. И про здоровье тоже не любил и тоже матерился. А поприветствовать при встрече всегда готов и очень вежливо: «честь имею, дед», «слушаю вас внимательно».

Мать его Любовь Петровна, светлая ей память, гордилась им и радовалась, что он с ней, хоть и без внука, и тревожилась за него. Рассказывала, что он места себе не находит, ни к чему

приохотиться не может. Видно, с запросами. Пару лет увлекался рыбалкой — забросил, надоело оводов угощать, и рыбу возненавидел, и на реку шел не вдруг, если мать изо всех сил попросит об ухе. Телевизор его сразу стал раздражать, перестал его смотреть. «Пустотища, одни дешевки». Наш депутат тоже так же высказывался, пока его не посадили.

Любовь говорила: «Вот увидите, доживем до того, что он какую-нибудь башню начнет в огороде строить. Для живописных видов».

Но как-то — недаром майор — держал себя в кондиции и сейчас, наверное, держит. Очень, думаю, по-своему, но держит.

Покойница Любовь повторяла: «Встанет с рассветом, сделает гимнастику на дворе, снег — не снег, согреет воду, побреется, наодеколонится одеколоном «Шипр» — вот приятный запах! — и... ложится и спит до одиннадцати. Дела-то еще вчера сделаны. И сегодня их на понюшку. Но форму как снял, приехавши, так ни разу не надел, сколь ни просила».

2

— Трудно ему, нет сомнений. Одинок, как перст, стареет от скуки, от пустоты. Мы привычные, мы живем от корней, как растения. А он-то мир повидал, имел соблазны, как ловчий зверь. Шуму над нами много, но ведь кругом пустота, сквозняк на сквозняке. Нас, доживающих, инвалидная команда. Поля порожние, березняком сорным заросли. Лесочки одряхлели, некому их молодить. Разве что звери стали чаще приходиться. Не то чтобы чем поживиться, а от своей бесталанности. Пообщаться. Зайцы, лисы... — надоели. Волки надоели (вреда от них нет, скотина у нас перевелась, а людей они не трогают, не верьте. Это вам не собаки городские одичавшие). Скачут зайцы за пряслон, мародерят на грядках. Приходят и словно указывают: теперича, брат, мы в одном сослови: мы как люди, вы как зайцы. Одна бражка.

А Степка Чугунок, хрен лысый, вам не все рассказал. Я-то живу с Вадимом Игнатьевичем близко, переехал в пустую избу лучше моей, рядом с ним. Точно перед тем, как Петровна отошла.

Захожу к нему через два дня на третий. Он мне рад, поит чаем. Хотя чуть засижусь — вижу: томится, хочет одиночества, привык бирючить. Но бирюк он добрый, грехи на войне оставил. Сам чистый, дом чистый, занавески стирает, мухам не входимо. Глаз у него один, но хороший, большой, теплый, карий. Моргает. Мы к нему привыкли.

У него теперь новое занятие, увлечение. Скажу сразу — а лучше бы завел вовремя хоть поросенка или щенка бы взял, лаечку. Но, брат ты мой... От покойной Любушки — так она мне в юные года нравилась, слов нет — ему достались всякие газеты и особенно журналы, которые она не смогла продать, когда, мать героя, ударилась в свой бизнес; она сложила, чтоб не видеть, эту прессу пачками у себя в стайке. Газеты извелись по хозяйству, а журналы она частично, по праздникам, отдавала нам, соседям. Придем, попросим, она нос наморщит и дает ключ от стайки: иди, выбери себе. Сама ни за что не пойдет. Возьмешь, по совести, три или четыре — есть чем заняться в зимний вечер.

И вот слушайте. Вадимушка добрался до этих журналов. Полгода читал, пока не перечитал. Перечитал — все раздал, обошел всех. И осталась у него большая пачка как бы журнальчиков или книжонок, особенных, одних и тех же, штук тридцать, под названием «Судоку. Выпуск первый». Это что-то вроде сборника кроссвордов, но из цифр. Да вы знаете, в городе живете, тоже поди балуетесь. Не слова надо отгадывать, а цифры правильно расставлять, по малым подсказкам. Додумались до такого развлечения самураи, еще до русско-японской войны, когда «Варяга» потопили.

И вот Вадим насобачился их разгадывать. Захожу на Благовещенье — день распогодился, снег розовый, солнце с воздухом играет. Сидит Вадим небритый! И курит! А раньше не курил. И отгадывает судоки. Одна книжка сбоку, над другой трудится в диком одноглазом прищуре. В раковине, под ручноймойником, грязные тарелки и ложки. Обе — мамина и его. Замечаю это. И кой-чего не понимаю. Беру в руки ту книжонку, что незанята — использованная. Листаю, почти все перечеркнуто в прах — не вышло. Но попадаются и отгаданные квадраты, циферки аккуратно уложены по клеточкам. И тут меня осенило: он же отгадывает одно и то же по второму разу.

А он уже сердится, я ему мешаю.

«Ты, — говорит, — Иван Федорович, не понимаешь. Это же цифры. Пока один выпуск отгадаешь, дойдешь до конца — забываешь, что было в начале. Это же не слова, не дела людские. Берешь нетронутый, и все, как заново, с чистого листа».

«И что же ты, сынок, — говорю, — так всю пачку и переберешь?» — Говорит: «Все переберу». — «А дальше?» — «А дальше съезжу в райцентр и куплю новую. Там казенный киоск уже работает. Мне пенсия позволяет. На квадроцикл не коплю».

Ну и ну. Мне стало страшно. Вот она, наша жизнь. А у него теперь во дворе беспорядок. Антенну свернуло, неделю налево смотрит. Калитка не закрывается — две недели не чинит. И во дворе валяется бутылка от беленькой. Про Машу — вдову забыл. Она было к нему прибрела, принял накоротке и спровадил: занят, как освобожусь — навещу. Ушла с каменным лицом, его не поняла, но поняла, что бабий век ее кончился. А он сидит день и ночь, не ест, не спит. Не бреется. Я перестал к нему заходить. Что война с людьми делает, а?

3

Мы допили с Иваном Федоровичем чай и вышли на двор покурить и подышать. Была поздняя звездная ночь, остро пахло первой травкой. Она пахла грудным ребенком. В окне Вадима горел свет, над занавеской колыхался табачный дым.

— Это никогда не кончится, — сказал старик, — с этой бедой он не справится. Погиб он.

СТРЕЛЯЛИ

Эти три почтовых дореволюционных конверта были обнаружены плотниками между листовенничных лаг при разборе полов в старом деревянном доме у площади Дзержинского, некогда Преображенской. Кроме того, подобрали несколько монеток эпохи последнего императора и папиросные коробки, брошенные

туда в ремонт середины 20-х годов. В одной из них, на которой была изображена мордоватая активистка в алой косынке с надписью на крепкой груди «Делегатка», нашли целую сухую папиросу. Ее выкурили солдатиком: «Хороший табак-то, этот почти столетний. Наверняка турецкий, кисленький».

А конверты отдали хозяевам жилья: вскрыли — в них какие-то неинтересные бумажки.

Два из них — без марок. На том, что заметно потолще, подписано женской вялой рукой: «Отец». На том, что совсем плоский, подписано: «Мать». Внутри них — газетные вырезки. А третий из них с маркой и адресом и содержит в себе письмо от пожилого мужчины лет 60 к молодой женщине лет 30, из Самары в Томск. Газетные вырезки датируются второй половиной 1880-х годов, а письмо — 28 июля 1914 года. И получено было, очевидно, когда уже началась Мировая война.

1. «Отец». Им оказался Иван Степанович Топорков, актер из местных. Конверт набит театральными рецензиями, в которых неизменно, с завидным постоянством, дается высокая оценка его работы, его дарования. Несмотря на его молодость, он предстает человеком большого, оригинального таланта и высоких нравственных качеств. Пьесы бывали хорошие, посредственные и плохие, подстать публике Королевского театра. Но и трагические и комические, и положительные и отрицательные, и классические и современные роли равно давались ему, о чем — повторим — настойчиво, с восхищением и убедительно рассказывают три или четыре рецензента из года и год. Они не преминули упомянуть, что Топорков добился не только признания, но и определенного достатка, получая на пару с женой-актрисой (чей вклад был, конечно, куда скромнее) до 200 рублей в месяц. Столько мог получать в Томске прирабатывающий статский советник! Жить можно было без особых хлопот, если муж не прикладывался к бутылке, а жена — не мотовка и жилье — свое. (Но он же местный, «муксунник»! А так-то съемное жилье в перенаселенном городе стоило очень дорого, 400-600 рублей за год.)

15 декабря 1886 года, в разгар театрального сезона, горячо любимый томичами актер стреляется. «Выстрелом из револьвера он опасно ранил себя в лицо, ниже височной кости. Пуля не задела

мозг. Он пришел в сознание, был бодр, даже шутил. Создавалось впечатление, что выстрел грянул по нечаянной неосторожности». Что ж, револьверы тогда были доступны всем, имелись в каждом почти доме, их чистили, проверяли...

Но в Новый год он умер. Ему было 28 лет. Семья, увы, осталась «без средств к существованию» — жена и дочь 2-3 лет.

О причинах самоубийства замечательного, обласканного земляками актера не говорится, конечно, в небольшом городе, где все на виду, где сплетни и слухи — из важнейших подспорий жизни, знали, в чем дело. Но интеллигентные газетчики из ссыльных согласно об этом промолчали. Имелись, стало быть, у них нравственные запреты, табу, святое.

2. «Мать». Актриса Топоркова, чье имя осталось нам неизвестным, не была примой. По поводу ее талантов в «Сибирской газете» единственный раз написали следующее (в театре давали «Пучину» Островского): «С истинным чувством провела небольшую роль Лизы г-жа Топоркова, о чем тем более нелишним считаем заметить, что это едва ли не первая ответственная роль, сыгранная ею; до сих пор на долю ее выпадали одни только выходящие роли». Вот и все, что мы знаем о творчестве актрисы Топорковой.

Но в тоненьком конверте хранилась еще одна вырезка. «6 ноября 1888 года 19-летний Давид Ицкович, купеческий сын, убил из ревности двумя выстрелами из револьвера актрису, г-жу Топоркову. Еще две пули достались модистке Прасоловой (отстрелил ухо и ранил в шею) и две — кухарке, которая лишилась передних зубов. У Топорковой одна пуля прошла шею навылет, другая пробила над бровью череп и застряла в мозгу».

3. «Письмо». Оно адресовано Елизавете Ивановне Пороховой, дочери Топорковых. Его написал Леонид Михайлович Петров, выступавший на томской сцене в одно время с Топорковыми, кажется, приятель отца. Выступал, как водилось, под псевдонимом и не на первых ролях («Печорин», «Шереметев», «Заволжский»? Не установишь, затерян в отзывах). Письмо написано в ответ на письмо-запрос Елизаветы, где-то и как-то чудом нашедшей временный адрес старого лицедея, испытанной перелетной птицы искусства.

Судя по отзывкам в письме Петрова, она, на долгие годы увезенная бабушкой в Барнаул, вернулась в Томск взрослой, когда молва о Топорковых умерла еще в прошлом веке, как умерли и последние свидетели той драмы. Самым последним из них был «бывший» князь Всеволод Долгоруков, которого она застала лежащим в гробу.

Она спрашивала Петрова, почему отец убил себя? Ему изменила жена, ее мать? Он полюбил другую женщину — и в отчаянии, в муках совести, в безысходности, как порядочный человек, наложил на себя руки? (О, то была эпоха самоубийств!)

Она спрашивала Петрова, неужели мама была легкомысленна? Может быть, этот мальчишка-убийца содержал ее, а она, «неблагодарная», нашла еще другого? Или все-таки было проще: психопат, ухаживал за ней — как же, актриса, модно амурить с актрисой, да еще красивой — и обезумел, наталкиваясь на отпор? И загубил: «так не доставайся же никому!» Бабушка ничего не знает. У нее мама — «бедный ангелочек». А я этого субъекта не помню, хотя мне было пять лет.

Петров ответил. «Милая Е. И.! Позвольте мне обратиться к Вам так, поскольку я когда-то держал Вас на руках, а Вы сиживали у меня на коленях и обнимали меня за шею, целуя мои не всегда выбритые щеки. Вы заставили меня вспомнить те молодые годы, то полные энтузиазма и радостей свежей жизни, то страшные, горькие, когда небо с овчинку казалось. Признаюсь, получивши Ваше письмо, я не спал до рассвета и даже всплакнул — да, я теперь частенько пускаю слезу, плешивый, изработанный старый одер. Вспоминал Ивана Степановича. Чудесный был человек. Прямо-таки родной, с прекрасной сибирской прививкой. И мама Ваша была на самом деле красавица и добродетельная, поверьте мне.

Уверен в том, что Ваш отъезд надолго в Барнаул оказался к месту. Дикие томские люди, саврасы, распустили тогда много злых и нелепых сплетен. Вы подрастали бы, рано или поздно сталкиваясь с ними, и душа Ваша была бы ими отравлена, отравлена пьяными идиотами, на версту не подходившими к Вашей семье. Очень жаль, что Вы не успели поговорить с Всеволодом Алексеевичем, застав его отошедшим в мир иной, проводив его до могилы — он близко знал Ивана Степановича, и Ваш отец был с ним

откровенен и доверителен, несмотря на разницу в возрасте. Он рассказал бы Вам то же самое, чем поделюсь с Вами я.

А было все просто и однозначно. Ваши родители преданно любили друг друга. Иван Ст. убил себя по небрежности, клянусь в этом. Он случайно нажал курок. Он сам мне об этом говорил, придя в себя. Негодяй И. действительно преследовал Вашу маму, развращенный сынок разбогатевших на водке родителей, ни в чем не знавший отказу. Чудовищный истерик! Никаких ухажеров-кавалеров у мамы не было, она жила скромно, перебиваясь с хлеба на воду, дыша Вами, мы иногда помогали ей в складчину, сами нищие слуги Мельпомены. Вот и все. Наша жизнь бывает очень жестокой, и Вы, взрослая, конечно, знаете это на собственном опыте. Вот и в воздухе сейчас пахнет войной, а нас это не пугает. И так худо — хуже не будет. Простите — занял.

Заканчиваю свое послание. Писать я не Амфитеатров. Не зря про актеров говорят, что читать кое-кто из них может, а писать — никто, грамоте не разумеет. Тронутый эпистолярной с Вами встречей, кланяюсь, пребываю Вашим другом, беззубый актер на выходах и входах, Леон. Мих. Петров. 1914 года 28 июля».

На оборотной стороне листка рукой Елизаветы Ивановны, сумбурно: «Утешил, интеллигенция, подозреваю: душеспасительно наврал! Чтобы попасть в висок, надо приставить револьвер к виску. Мне ли не знать! Зачем, чистя револьвер, тыкать им в висок? От дури? И няня говорила, что папа был умный, да грустный, ходил с мокрыми глазами. И дорогих модисток — я выяснила, что Прасолова была дорогая, к самим Кухтериным ходила — не зовут в нужде. И ели мы, и одевались — помню! — пристойно! Нет, наврал, уклонился. Добренький! Из лучших побуждений! А я ждала, ждала, папочка...»

Эти каракули выдают в ней очень одинокого человека, давно привыкшего разговаривать с самим собой. Все это можно было высказать неведомому мужу Порохову, но видно не собеседник он был ей, если вообще еще существовал с ней рядом.

Конечно, ничего более не известно о судьбе самой дочери. Впереди война, революции, гражданская война. Бесконечное хождение человека по мукам. Пропала. Сгинула, растворилась. В доме с 1919 года поселились другие люди. Много и впритык.